Послушайте! Сборник. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!

Послушайте! Сборник. Владимир Владимирович Маяковский

* * *

Стихотворения и поэмы

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
(1913)

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки,
А там, под вывеской, где сельди из Керчи, —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
1913

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.
1913

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они
были?
Значит – кто-то называет эти
плевóчки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полýденной пыли,
врывается к богу,

боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914
Скрипка и немножко нервно
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон –
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» –
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору –
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте –
будем жить вместе!

А?»
1914
Облако в штанах
Тетраптих
Второму изданию[1]
«Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства.

«Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» – четыре крика четырех частей.

Долг мой восстановить и обнародовать эту искаженную и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу.

[1918]
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходи́те учиться –
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите –
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона –
хотите –
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.
1
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится,
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,

и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая –
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, –
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, –
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы –
большие,
маленькие,
многие! –
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, –
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете –
я выхожу замуж».
Что ж, выходи́те.
Ничего.

Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», –
а я одно видел:
вы – Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей зáгиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дрáзните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, –
а самое страшное
видели –
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую –
«я»
для меня малó.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, –
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают –
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.

Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
2
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»[2].
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi[3] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,

а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется – «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном
паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы –
каждый –
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне –
люди,
и те, что обидели –
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
рáспял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю –
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! –
и окровавленную дам, как знамя.
3
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И –
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк –
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на…
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной –
«изящно пляшу ли», –
смотрите, как развлекаюсь
я –
площадной
сутенер и карточный шулер!
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут –
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе –
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете –
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк –
берите камень, нож или бомбу,

а если у которого нету рук –
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом гря́зненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника –
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат,
Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите –
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, –
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем меси́ве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они –
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,

в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
4
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Мария!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Открой!
Больно!
Видишь — натыканы

в глаза из дамских шляп булавки!
Пустила.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария – дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехавную поездом лапу.
Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бóк,
наклонюсь
и скажу ему нá ухо:
– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете –
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим пó столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, –
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь –
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им –
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мýки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, –
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите –
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
1915
Флейта-позвоночник
Пролог

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.
Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.
1
Вёрсты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.
Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!
Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,

я скоро сдохну.
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!
Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!
Вёрсты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
2
И небо,
в дымах забывшее, что голубó,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.
Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.
Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.
Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!

Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.
Будешь зá море отдана,
спрячешься у ночи в норе –
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.
В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, –
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.
Улыбку в губы вложишь,
смотришь –
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.
Вынесешь нá мост шаг рассеянный –
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я –
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.
Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.
Быть царем назначено мне –
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, –
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Слушайте ж, забывшие, что небо голубó,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.
3
Забуду год, день, число.

Запрусь одинокий с листом бумаги я,
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!
Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.
Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь.
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.
Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.
Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.
Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.
Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.
Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный

монастырь.
Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо,
уйду,
хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашéй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»
Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.
И видением вставал унесенный от тебя
лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.
В муке
перед той, которую отдáл,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.
Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.
Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.
В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.
1915
России
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять

до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
1916
Лиличка!
(Вместо письма)
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде[4].
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,

он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
26 мая 1916 г. Петроград
Хорошее отношение к лошадям
Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. –
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
– Лошадь упала! –
– Упала лошадь! –
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу –
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шéрсти…
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте –
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
– старая –
и не нуждалась в няньке,
может быть,

и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала нá ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
1918
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце áло,
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.

Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!

Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь –
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!
1920
Люблю
Обыкновенно так
Любовь любому рожденному дадена, –
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело – рубаха.
Но и этого мало!
Один –
идиот! –
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет –
и скукожится.
Мальчишкой
Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я –
убег на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо –
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже –
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место –

и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»
Юношей
Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазна́ются.
«Чего – мол – стоют лучёнышки эти?»
Ая
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы – все на свете.
Мой университет
Французский знаете.
Делите.
Множите.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человечий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она – с крохотный глобус.
Ая
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночёвкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских больные вопросы:
– Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,

всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбёнками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши – что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая – флюгер.
Взрослое
У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов зá сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстнóю площадью лёжа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди – любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный – просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.
Что вышло
Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,

громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
– и не вылиться —
некуда, кажется – полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.
Зову
Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго́ бы…»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.
Ты
Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —

ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.
Невозможно
Один не смогу –
не снесу рояля
(тем более –
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит –
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя –
богатством в железо –
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.
Так и со мной
Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
– я же люблю! –
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, –
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.
Вывод
Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,

клянусь —
люблю
неизменно и верно!
1922
Прозаседавшиеся
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922
Юбилейное
Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.
Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода –
давайте
мчать болтая,
будто бы весна –
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, –
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред – мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает –

жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[5]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
– Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!

Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous[6]…
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эм.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища́.
Между нами
– вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?

вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни óтдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однообразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора,
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь…
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так…
ничего…
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
– вот так-то, мол,
и так-то…
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сýкна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только

быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным…
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести…
пулею сражен…
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.

Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
– ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
Сергею Есенину
Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вина
то…
да сё…
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,

класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то жажду
заливает квасом?
Класс – он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв –
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы

загонять колом –
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит, –
где он,
бронзы звон
или гранита грань? –
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой –
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы и́наче
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
– Не позволю
мямлить стих
и мять! –
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая по́гань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много –
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав –
можно воспевать.
Это время –
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней

и легше?
Слово –
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
1926
Разговор с фининспектором о поэзии
Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство!
Спасибо…
не тревожьтесь…
я постою…
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните –
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы

ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений,
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной,
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
— Поэзия
— вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение

тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит – и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами –
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин,
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
– Были выезды?
Или выездов нет? –
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас –
в мое положение войдите –
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я

народа водитель
и одновременно –
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
– в архив,
исписался,
пора! –
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега круши́т.
Приходит
страшнейшая из амортизаций –
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, –
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и – знаю – не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
– один! –
в непролазном долгу.
Долг наш –
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на го́ре
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии –

перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы – цельcя рифмой
и ритмом ярись?
Слово поэта –
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта –
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делóв –
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стилó,
и можете
писать
сами!
1926
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви
Простите
меня,

товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
– правильно сказал
или неправильно? –
Я, товарищ, –
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы –
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен –
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила –
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, –
тридцать…
с хвостиком.
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут у́гольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.
Любить –
это значит:
в глубь двора

вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней – до неба…
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом нé был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят нáземь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот

с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте…
1928
Письмо Татьяне Яковлевой
В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,

дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски, —
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы…
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,

в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.
1928
Пьесы
Владимир Маяковский
Трагедия
Пролог

Два действия

Эпилог

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 20–25 лет).

Его знакомая (сажени 2–3. Не разговаривает).

Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).

Человек без глаза и ноги.

Человек без уха.

Человек без головы.

Человек с растянутым лицом.

Человек с двумя поцелуями.

Обыкновенный молодой человек.

Женщина со слезинкой.

Женщина со слезой.

Женщина со слезищей.

Газетчики, мальчики, девочки и др.

Пролог
В. Маяковский

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы –
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода –
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понёс в веках;
с душой натянутой, как нервы прóвода,
я –
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, –
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.
Первое действие
Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский.
Проходящие приносят еду – железного сельдя с вывески, золотой огромный калач,
складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок – обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите –
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?
Входит Старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь – борода.

В. Маяковский

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.
Сцена постепенно наполняется. Человек без уха, Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.

В. Маяковский

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.
Старик с кошками

Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я – тысячелетний старик.
И вижу – в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами, –
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, –
заскачут трамваи,

пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги,
Мир зашевéлится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
Человек без уха

Это – правда!
Над городом
– где флюгеров древки –
женщина
– черные пещеры век –
мечется,
кидает на тротуары плевки, –
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, –
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Окружают.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.
Все в волнении.

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш гýбы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.
Еще тревожнее.

Старик с кошками

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
Человек с растянутым лицом

А может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?
Человек без уха

Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.
Человек с растянутым лицом (радостно поддакивает)

И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!
В. Маяковский (поднял руку, вышел в середину)

Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
(Остановился.)

И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее –
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
(Остановился.)

Я – поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!
Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.

В. Маяковский (в стороне – тихо)

Милостивые государи!
Говорят,
где-то
– кажется, в Бразилии –
есть один счастливый человек!
Обыкновенный молодой человек (подбегает к каждому, цепляется)

Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.
Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый –
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы – говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.
Человек без уха

Молодой человек,
встань на коробочку!
Из толпы

Лучше на бочку!
Человек без уха

А то вас совсем не видно!
Обыкновенный молодой человек

И нечего смеяться!
У меня братец есть,
маленький, –
вы придете и будете жевать его кости.
Вы всё хотите съесть!
Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»

В. Маяковский

Бросьте!
Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.

Если б вы так, как я, голодали –
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!
Обыкновенный молодой человек

Что же, –
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка-сестра!
(На коленях.)

Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!
Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба.

Загудело железо крыш.

Человек с растянутым лицом
Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.
Человек без уха

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.
Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.

Человек с растянутым лицом

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!
Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.

Вместе

Идем, —
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.
Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.

Человек без глаза и ноги

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
рéки —
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки волос
подымался на лысом темени времен.
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных
имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны

и пошли –
одни! –
без человечьих ляжек!
Пьяный –
разинув черную пасть –
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes»[7].
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! –
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!
Занавес

Второе действие
Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги (услужливо)

Поэт!
Поэт!
Вас объявили князем.
Покорные
толпятся за дверью,
пальцы сосут.
Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.
В. Маяковский

Что же,
пусть идут!
Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.

Первая

Вот это слёзка моя –
возьмите!
Мне не нужна она.
Пусть.
Вот она,
белая,
в шелке из нитей
глаз, посылающих грусть!
В. Маяковский (беспокойно)

Не нужна она,
зачем мне?
(Следующей.)

И у вас глаза распухли?
Вторая (беспечно)

Пустяки!
Сын умирает.
Не тяжко.
Вот еще слеза.
Можно на туфлю.
Будет красивая пряжка.
В. Маяковский (испуган)

Третья

Вы не смотри́те,
что я
грязная.
Вымоюсь —
буду чище.
Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.
В. Маяковский

Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора.
Кто этот очаровательный шатен?
Газетчики

Фигаро!
Фигаро!
Матэн!
Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.

Смотрите —
какой дикий!
Отойдите немного.
Темно.
Пустите!
Молодой человек,
не икайте!
Человек без головы

И-и-и-и…
Э-э-з-э…
Человек с двумя поцелуями

Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.
В. Маяковский

Что?
Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!
Голоса

Тише!
Тише!
Человек с двумя поцелуями (танец с дырявыми мячами)

Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,

куда их деть.
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно,
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
укусил его за пальцы.
«Что же, –
рассердился человек, –
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей
дрожащее тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся –
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,
смеется,
бесится!
«Господи! –
заплакал человек, –
никогда не думал, что я так устану.
Надо повеситься!»
И пока висел он,
гадкий,
жаленький, –
в будуарах женщины
– фабрики без дыма и труб –
миллионами выделывали поцелуи,
всякие,
большие,
маленькие, –
мясистыми рычагами шлепающих губ.
Вбежавшие дети-поцелуи (резво)

Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока – восемь.
Я –
Митя.
Просим!
Каждый кладет слезу.

В. Маяковский

Господа!
Послушайте, –
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

Угрозы:

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!
Старик с одной ощипанной кошкой

Ты один умеешь песни петь.
(На груду слёз)

Отнеси твоему красивому богу.
В. Маяковский

Пустите сесть!
Не дают. В.Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.

Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет —
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.
Я добреду —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.
Занавес

Эпилог
В. Маяковский

Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел – у меня нет груди:

я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного высох,
я – блаженненький.
Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он – вор!
Иногда мне кажется –
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.
1913
Клоп
Феерическая комедия
Девять картин

РАБОТАЮТ:

Присыпкин – Пьер Скрипкин – бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених.

Ренесанс:

Зоя Березкина – работница.

Эльзевира Давыдовна – невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской

Розалия Павловна – мать-парикмахерша

Давид Осипович – отец-парикмахер

Олег Баян – самородок из домовладельцев.

Миллиционер.

Профессор.

Директор завода.

Брандмейстер.

Пожарные.

Шафер.

Репортер.

Рабочий аудитории.

Председатель горсовета.

Оратор.

Вузовцы.

Распорядитель празднества.

Президиум горсовета, охотники, дети, старики.

I
Центр – вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-лотошники.

Пуговичный разносчик. Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться! Нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся.

Голландские,
механические,
самопришивающиеся пуговицы,
6 штук 20 копеек…
Пожалте, мусью!
Разносчик кукол

Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка
в саду и дома,
танцует по указанию
самого наркома!
Разносчица яблок

Ананасов!
нету…
Бананов!
нету…
Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек.
Прикажите, гражданочка!
Разносчик точильных камней

Германский
небьющийся
точильный брусок,
30
копеек
любой
кусок.
Точит
в любом
направлении
и вкусе
бритвы,
ножи
и языки для дискуссий!
Пожалте, граждане!
Разносчик абажуров

Абажуры,
любой
расцветки и масти.
Голубые для уюта,
красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!
Продавец шаров

Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы
шар
генералу Нобиле, –
они бы на полюсе
дольше пóбыли.

Берите, граждане…
Разносчик селедок

А вот
лучшие
республиканские селедки,
незаменимы
к блинам и водке!
Разносчица галантереи

Бюстга́льтеры на меху,
бюстга́льтеры на меху!
Продавец клея

У нас
и за границей,
а также повсюду
граждане
выбрасывают
битую посуду.
Знаменитый
Экцельзиор,
клей-порошок,
клеит
и Венеру,
и ночной горшок.
Угодно, сударыня?
Разносчица духов

Духи Ко́ти
на золотники!
Духи Ко́ти
на золотники!
Продавец книг. «Что делает жена, когда мужа нету дома». 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати – пятнадцать копеек.

Разносчица галантереи

Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!
Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.

Разносчица

Бюстгальтеры…
Присыпкин (восторженно). Какие аристократические чепчики!

Розалия Павловна. Какие же это чепчики, это же…

Присыпкин. Что ж я без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан… Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически… так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!

Баян (подхихикивая). Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.

Розалия Павловна, вздохнув, покупает.

Баян. Я донесу… они легонькие… не извольте беспокоиться… за те же деньги…

Разносчик игрушек. Танцующие люди из балетных студий…

Присыпкин. Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе.

Во! Захватите, Розалия Павловна!

Розалия Павловна. Товарищ Присыпкин…

Присыпкин. Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.

Розалия Павловна. Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей – усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?

Присыпкин (строго). Розалия Павловна! У меня дом…

Баян. У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.

Розалия Павловна покупает.

Баян (схватывая сверточки). Не извольте беспокоиться, за те же деньги.

Разносчик пуговиц

Из-за пуговицы не стоит жениться!
Из-за пуговицы не стоит разводиться!
Присыпкин. В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!

Баян. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он – победивший класс, и он сметает всё на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.

Розалия Павловна покупает со вздохом.

Баян. Извольте, я донесу за те же самые…

Продавец сельдей

Лучшие республиканские селедки!
Незаменимы
при всякой водке!
Розалия Павловна (отстраняя всех, громко и повеселевши). Селедка – это – да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я дá захвачу! Пройдите, мосье мужчины! Сколько стоит эта килька?

Разносчик. Эта лососина стоит 2.60 кило.

Розалия Павловна. 2.60 за этого шпрота-переростка?

Продавец. Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!

Розалия Павловна. 2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской общественной кооперации!

Баян. Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на «ять».

Присыпкин. Товарищ Баян, я против этого мещанского быту – канареек и прочего… Я человек с крупными запросами… Я – зеркальным шкафом интересуюсь…

Зоя Березкина почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.

Баян. Когда ваш свадебный кортэж…

Присыпкин. Что вы болтаете? Какой картёж?

Баян. Кортэж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.

Присыпкин. А! Ну-ну-ну!

Баян. Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея.

Присыпкин. Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи!

Баян. Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озверевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.

Присыпкин. Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?

Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылазит из кареты – красная невеста… вся красная, – упарилась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, – вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.

Присыпкин (сочувственно). Во! Во!

Баян. Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки…

Зоя (растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль). Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба?

Баян. Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренесанс и…

Присыпкин

Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.
Зоя. Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?

Присыпкин (вытягивая отстраняющую руку). Мы разошлись, как в море корабли…

Розалия Павловна (вырывается из магазина, неся сельди над головой). Киты! Дельфины! (Торговцу сельдями.) А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! (Сравнивает; сельдь лотошника больше; всплескивает руками.) На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть… На хвост, на целый хвост больше!..

Баян. Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца, – она ж и больше только на головку, а зачем вам головка, – она ж несъедобная, отрезать и выбросить.

Розалия Павловна. Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не стоит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на килé. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии – это тоже вам не бык на палочке.

Зоя. Жить хотели, работать хотели… Значит, всё…

Присыпкин. Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.

Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки.

Розалия Павловна. Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?

Зоя. Он мой!

Розалия Павловна. А!.. Она-таки с дитём! Я ей заплачу́ алименты, но я ей разобью морду!

Милиционер. Граждане, прекратите эту безобразную сцену!

II
Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.

Босой парень (орет). Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?

Уборщик. Это в них Присыпкин к своей верблюди́хе на свидание затопал. Надевал – ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.

Босой. Сволочь!

Молодой рабочий (убирает). И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль с-под пива да хвост воблы, а теперь баночки ТЭЖЭ да ленточки разрадуженные.

Девушка. Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.

Парень. Макдональд и есть! Не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает – головой пошевелить боится.

Уборщик. Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.

Парень. Она у него и без карандаша черная.

Изобретатель. Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.

Уборщик. Сразу нашелся – изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. (Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку, – разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле созывая рукой товарищей.)

Все (перечитывают, повторяют). Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!

Изобретатель. Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин – это уже не фамилия, а романс!

Девушка (мечтательно). А ведь верно: Пьер Скрипкин – это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.

Парень. Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет – растрепать боится.

Девушка. У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.

Изобретатель. Это его учитель по волосатой части развивает.

Парень. И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся?

Парень с книгой. Н-е-ет. Он – писатель. Чего писал – не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечорка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно всё, – это я у Надсона списал. Кто из них прав – не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень – молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так… деньги занимать.

Парень с метлой. Не рабочее это дело – мозоль лаком нагонять.

Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.

Слесарь. До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке – она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.

Изобретатель. Эльзевир – шрифт такой есть.

Слесарь. Насчет шрифтóв не знаю, а корпус у нее – это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.

Ну и милка, ну и чудо, –
одни груди по два пуда.
Босой. Устроился!

Девушка. Ага! Завидки берут?

Босой. А что ж, я тоже, когда техноруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю.

Слесарь. Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку – на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку – взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж – пошел!

Босой. И пойду и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься… Герой!

Слесарь. Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На всех на нас нэповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу… Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.

Босой. Зарядил – окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людям для себя жить хочется.

Слесарь. А что – не окопы?

Босой. Врешь!

Слесарь. Вшей сколько хошь.

Босой. Врешь!

Слесарь. А стреляют бесшумным порохом.

Босой. Врешь!

Слесарь. Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.

Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками. Заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря.

Баян. Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайте, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят.

Ребята общежития отворачиваются.

Слесарь. Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.

Баян. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственнейший шаг в жизни – первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?

П рисыпкин. Товарищ Баян, башмаки сниму: во-первых, жмут, во-вторых, стаптываются.

Баян. Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!

Присыпкин (скользит на воображаемом плече). Не держится она у меня на воздухе.

Баян. А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение – о другой руке подумать можете. Чего плечьми затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское «па» продемонстрировать изволили.

Присыпкин. Нет. Это я так… на ходу почесался.

Баян. Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатите глаза, как будто даму ревнуете, отступите по-испански к стене, быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру (в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта насорочено). Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас понял, коварррная, вы мной играете… но…» и опять пуститесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.

Присыпкин. Вот так?

Баян. Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране – вам развернуться негде. Разве наш Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкарóв сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполнят, тогда хоть из горлышка. Оревуар. (Уходит, крича из дверей.) Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубито на носу: нельзя навыпуск носить крахмальную рубаху!

Присыпкин меряет обновки.

Парень. Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучелило?

Присыпкин. Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!

Слесарь. Боец! Суворов! Правильно!

Шел я верхом,
шел я низом,
строил мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся у мостá.
Травка выросла у мóста.
По мостý идут овечки.
Мы желаем
очень просто
отдохнуть у этой речки…

Так, что ли?

Присыпкин. Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками… Во! (Садится на кровать, напевает под гитару.)

На Луначарской улице
я помню старый дом –
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.
Выстрел. Бросаются к двери.

Парень (из двери). Зоя Березкина застрелилась!

Все бросаются к двери.
Парень. Эх, и покроют ее теперь в ячейке!

Голоса

– Скорее…

– Скорее…

– Скорую…

– Скорую…

Голос. Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь. Навылет. Средний Козий, 16.

Присыпкин один, спешно собирает вещи.

Слесарь. Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась! Вон! (Берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи.)

Уборщик (бегущий с врачом, придерживает и приподымает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу). И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!

Присыпкин (отворачиваясь, орет). Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!

III
Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены рояль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: Пьер Скрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и шафериц, мамаша и папаша Ренесанс. Посаженный отец – бухгалтер и такая же мать. Олег Баян распоряжается в центре стола, спиной к залу.

Эльзевира. Начнем, Скрипочка?

Скрипкин. Обождать.

Пауза.

Эльзевира. Скрипочка, начнем?

Скрипкин. Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко… Во!

Гость (вбегая). Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, парт-день, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, поттить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам.

Присыпкин. Объявляю свадьбу открытой.

Розалия Павловна. Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией

или с Польшей. Но… войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье.

Все (подымают стаканы и рюмки). Горько! Горько!..

Эльзевира и Пьер целуются.

Горько! Го-о-о-рь-к-о-о!

Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства.

Посаженный отец – бухгалтер. Бетховéна!.. Шакеспеара!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!

Тащат рояль.

Голоса. Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух и зубов, зубов-то! Вдарить бы!

Присыпкин. Не оттопчите ножки моей рояли.

Баян (встает, покачивается и расплескивает рюмку). Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом. В с е. Горько! Горько!

Эльзевира и Скрипкин целуются.

Баян. Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом?

Все. Горько! Горько!

Баян. Уважаемые граждане! Красота – это двигатель прогресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочкин и – больше ничего! Что я мог в качестве Бочкина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна – сколько угодно! Например:

Олег Баян
от счастья пьян.
И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми благами культуры и могу выражаться, то есть нет – выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:

Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.
Все. Браво! Ура! Горько!

Баян. Красота – это мать…

Шафер (мрачно и вскакивая). Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.

Шафера оттаскивают.

Все. Бетховéна! Камаринского!

Тащат Баяна к роялю.

Баян

Съезжалися к загсу трамваи –
там красная свадьба была…
Все (подпевают)

Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!
Бухгалтер. Поня́л! Все поня́л! Это значит:

Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик…
Парикмахер (с вилкой лезет к посаженной маме). Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после революции, нет. Шиньон гоффре делается так… Берутся щипцы (вертит вилкой), нагреваются на слабом огне а ля этуаль (тычет вилку в пламя печи), и взбивается на макушке эдакое волосяное суффле.

Посаженная. Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как девушки… Пустите… Сукин сын!!!

Шафер. Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных!

Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится, как с шарманкой.

Эльзевира (к Баяну). Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере Холодной». Ах, это так шарман[8], ах, это просто петит истуар[9]…

Шафер (вооруженный гитарой). Кто сказал «писуар»? Прошу при новобрачных…

Баян разнимает и набрасывается на клавиши.

Шафер (приглядываясь, угрожающе). Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?

Баян. Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.

Шафер. Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!..

Баян. Да я на всех!

Шафер. Значит, с белыми вместе, соглашатель?

Баян. Товарищ… Так это же… цедура.

Шафер. Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! (Грохает гитарой по затылку.)

Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженной матери. Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

Присыпкин. Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!

Бухгалтер. А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да? А сами орете – да?

В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь опрокидывается, – пламя, дым.

Крики. Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лососину…

Съезжались из загса трамваи…

IV
В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные.

1-й пожарный. Не совладать, товарищ начальник! Два часа никто не вызывал… Пьяные стервы!! Горит, как пороховой склад. (Уходит.)

Начальник. Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.

2-й пожарный. Затухает, вода на лету сосулится. Погреб водой залили глаже, чем каток. (Уходит.)

Начальник. Тела нашли?

3-й пожарный. Одного погрузили, вся коробка испорчена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. (Уходит.)

4-й пожарный. Погрузили… одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове.

1-й пожарный. Под печкой обнаружена бывшая женщина с проволочным венчиком на затылочных костях.

3-й пожарный. Обнаружен неизвестный довоенного телосложения с кассой в руках – очевидно, при жизни бандит.

2-й пожарный. Среди живых нет никого… Среди трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения полагаю – сгорел по мелочам.

1-й пожарный. Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.

3-й пожарный

Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.
Горнист скликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, выкрикивая.

Пожарные

Товарищи и граждане,
водка – яд. Пьяные
республику
за зря спалят!
Живя с каминами,
живя с примуса́ми,
сожжете дом
и сгорите сами!
Случайный
сон –
причина пожаров, –
на сон
не читайте
Надсо́на и Жарова!
V
Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов – радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы голосов и света. Два механика – старик и молодой – возятся в темной аудитории.

Старый (сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов). Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.

Молодой. Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским аппаратам. На прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.

Старый. Уральские заводы готовы. Металлургические курские включим, там провели новый аппарат на шестьдесят две тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка.

Молодой. А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно, должно быть?

Старый. Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало – человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.

Молодой. Ну конечно! Кустарничество!

Старый. Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку первому руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел – голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берёг.

Молодой. Уберег?

Старый. Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?

Молодой. Готово!

Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.

Оратор. Включить одновременно все районы федерации!

Старший и младший. Есть!

Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.

Оратор. Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад.

Урегулируем разницу мнений.

Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды.

Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшие полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните:

Мы
голосуем
человеческую жизнь!
Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.

«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».

Голоса половины раструбов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет. Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет:

«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий

подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».

Голоса раструбов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»

Есть ли еще резолюции и дополнения?

Загорается третий экран, оратор повторяет:

«Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».

Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!», «Отклонить!» Лампы загораются.

Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!

Подымается подавляющее большинство железных рук.

Опустить! Кто за поправку Сибири?

Подымаются две редких руки.

Собрание федерации приняло: «Вос-кре-сить!»

Рев всех раструбов: «Ура!!!» Голоса молкнут.

Заседание закрыто!

Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны:

Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!

Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:

1-й репортер. Алло!!! Волна 472½ метра… «Чукотские известия»… Воскресить!

2-й репортер. Алло! Алло!!! Волна 376 метров… «Витебская вечерняя правда»… Воскресить!

3-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров… «Варшавская комсомольская правда»… Воскресить!

4-й репортер. «Армавирский литературный понедельник». Алло! Алло!!!

5-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»… Воскресить!

6-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров… «Римская красная газета»… Воскресить!

7-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров… «Шанхайская беднота»… Воскресить!

8-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров… «Мадридская батрачка»… Воскресить!

9-й репортер. Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров… «Кабульский пионер»… Воскресить!

Газетчики врываются с готовыми оттисками.

1-й газетчик

Разморозить
или не разморозить?
Передовицы
в стихах и в прозе!

2-й газетчик

Всемирная анкета
по важнейшей теме –
о возможности заноса
подхалимских эпидемий!
3-й газетчик

Статьи про древние
гитары и романсы
и прочие
способы
одурачивания массы!
4-й газетчик

Последние новости!!! Интервью! Интервью!
5-й газетчик

Научный вестник,
пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень
так называемых ругательств!
6-й газетчик

Последнее радио!
7-й газетчик

Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли
слона
убить папироса!
8-й газетчик

Грустно до слез,
смешно до колик:
объяснение
слова «алкоголик»!
VI
Матовая стеклянная двустворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.

Зоя Березкина. Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза…

Профессор. Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? (Ищет в словаре.) Буза… Буза… Буза… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков… Буза – это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности…

Зоя Березкина. Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до… попытки самоубийства.

Профессор. Самоубийство? Что такое «самоубийство»? (Ищет в словаре.) Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение… Нашел «самоубийство». (Удивленно.) Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?

Зоя Березкина. Нет… Я сама.

Профессор. Сама? От неосторожности?

Зоя Березкина. Нет… От любви.

Профессор. Чушь… От любви надо мосты строить и детей рожать… А вы… Да! Да! Да!

Зоя Березкина. Освободите меня, я, право, не могу.

Профессор. Это и есть… Как вы сказали… Буза. Да! Да! Да! Да! Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он – это он! А вы – это она! Скажите, а ресницы у него были мягкие? На случай поломки при быстром размораживании.

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу упомнить ресницы, бывшие пятьдесят лет назад…

Профессор. Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы не помните, – он сильно раздувал ноздри при вдыхании в возбужденном обществе?

Зоя Березкина. Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.

Профессор. Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже?

Зоя Березкина. Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! Помню, был какой-то живот…

Профессор. Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По крайней мере, был ли он порывист?

Зоя Березкина. Не знаю… Возможно, но… только не со мной.

Профессор. Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.

Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человечьих размеров. У ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть врачей, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.

Профессор (переходя от врача к врачу, говорит). (Первому.). Ток включить по моему сигналу. (Второму.). Доведите теплоту до 36,4 – пятнадцать секунд каждая десятая. (Третьему.) Подушки кислорода наготове? (Четвертому.). Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением… (Пятому.) Крышку открыть сразу. (Шестому.) Наблюдать в зеркало стадии оживления.

Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.

Начинаем!

Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода. У маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор.

6-й врач. Появляется естественная окраска!

Пауза.

Освобожден ото льда!

Пауза.

Грудь вибрирует!

Пауза.

(Испуганно.) Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость…

Профессор (подходит, вглядывается, успокоительно). Движения нормальные, чешется, – очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты.

6-йврач. Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела…

Профессор (вглядывается). Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.

Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.

1-й врач. 36,1

2-й врач. Пульс 68.

6-й врач. Дыхание выравнено.

Профессор. По местам!

Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.

Присыпкин. Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?

Профессор. Нет, это совсем другое отделение! Это – отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили…

Присыпкин. Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы-доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. (Выскакивает, выворачивает карманы.) 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. В Осо-авиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! (Свистнул.) Да я же вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. (Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе.) 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросют! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! (Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.)

За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора́ окружают профессора.

Хором. Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал…

Профессор. В древности был такой антисанитарный обычай.

Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.

Присыпкин (натыкаясь на Зою). Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?

Рев сирены обернул присыпкинскую голову.

Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Москва?.. Париж?? Нью-Йорк?! Извозчик!!!

Рев автомобильных сирен.

Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! (Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.) Клоп, клопик, клопуля!!! (Перебирает гитару, поет.) Не уходи, побудь со мною… (Ловит клопа пятерней; клоп уполз.) Мы разошлись, как в море корабли… Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я… Один!!! Извозчик, автодоры… Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! (Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.)

VII

Середина сцены – треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево: на зеленых квадратах-листьях – огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево – бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье – зеленое, с

елочными шишками, – открытые флаконы духов. Бока – стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника – длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.

Репортер. Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых… Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши – и не сочно, и не вкусно, и не питательно…

Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами, сидящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.

1-ймужчина. Ну, скорей, товарищ, рассказывайте всё подробно и по порядку.

Репортер. Так вот… Какие сочные ломтики! Не хотите ли?.. Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне как президенту репортажа известно всё… Так вот, видите, видите?..

Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами.

Это – ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.

Сидящие. О-о-о!!!

Репортер. Смотрите, смотрите!

Проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива.

Проходящий (напевает)

В девятнадцатом веке
чу́дно жили человеки –
пили водку, пили пиво,
сизый нос висел, как слива!
Репортер. Смотрите, конченый, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.

Сидящие. А-а-а-а!!!

Мужчина (мечтательно и томительно). Я б себя принес в жертву науке, – пусть привьют и мне эту загадочную болезнь!

Репортер. Готов! И этот готов! Тихо… Не спугните эту лунатичку…

Проходит девушка, ноги заплетаются в «па» фокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.

Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные, душу раздирающие придыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше – больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности», – так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и

невероятным поступкам.

Девушка (закрывает глаза руками). Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.

Репортер. Готова, и эта готова… Эпидемия океанится…

30 герлс проходят в танце.

Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятикожку! Подумать только – и это вздымание ног они (к аудитории) обзывали искусством!

Фокстротирующая пара.

Эпидемия дошла… дошла… до чего дошла? (Смотрит в словарь.) До а-по-гея, ну… это уже двуполое четвероногое.

Вбегает директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.

Директор (ко всем). Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!

Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.

Голоса. Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на матраце в каждом окне выставить – он на человека бежит… Не орите, спугнете!!! Если я найду, я никому не отдам…

– Не смеешь: он коммунальное достояние…

Восторженный голос. Нашел!!! Есть! Ползет!..

Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.

Профессор (придушенным шепотом). Да… Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!

Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.

Директор (опуская трубу, плачущим голосом). Ушел… На соседнюю стену ушел… SOS! Сорвется – убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!

Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.

Восторженный голос сверху. Поймал! Ура!!!

Директор. Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помни́те животному лапки…

По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.

Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен… Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться – к нам будут стекаться ученые и туристы… Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!

VIII

Гладкие опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная

полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате.

Профессор (входит). Как дела больного?

Врач. Больного – не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, – он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.

Присыпкин. О-о-о!

Профессор бросается к Присыпкину.

Профессор, о профессор!!!

Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.

Опохмелиться…

Профессор наливает пива на донышко стакана, подает.

(Приподнимается на локтях. Укоризненно.) Воскресили… и издеваются! Что это мне – как слону лимонад!..

Профессор. Общество надеется развить тебя до человеческой степени.

Присыпкин. Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!

Профессор. Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь…

Присыпкин. Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются… Товарищ профессор, дайте опохмелиться.

Профессор (наливает стакан). Только не дышите в мою сторону.

Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.

Зоя Березкина (садится около Присыпкина, распаковывает книги). Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер – «Как я был президентом».

Присыпкин (берет книгу, отбрасывает). Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало…

Зоя Березкина. Вот вторая – какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».

Присыпкин (берет, откидывает). Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало…

Зоя Березкина. Не знаю, что это такое? Замирало, щипало… щипало, замирало…

Присыпкин. Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?

Зоя Березкина. Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого. Есть пара старух – помнят, показать не могут по причинам ревматическим.

Присыпкин. Так для чего ж я себе преемственное изящное образование вырабатывал? Работать же я ж и до революции мог.

Зоя Березкина. Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабочих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.

Присыпкин. Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили. (Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.) Где? Где вы это взяли?..

Зоя Березкина. На улицах всем раздавали… Должно быть, в библиотеке в книги вложили.

Присыпкин. Спасен!!! Ура!!! (Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.)

Зоя Березкина (одна). Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.

IX
Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки – трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыканты. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших – по занятиям и росту.

Распорядитель. Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. (Отходит, любуется.)

Товарищи негры, стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость… Учащиеся вузов, – налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.

Въезжают в колясках старики и старухи.

1-я старуха. Как сейчас помню…

1-й старик. Нет – это я помню, как сейчас!

2-я старуха. Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.

2-й старик. А я как сейчас помню, как раньше.

3-я старуха. А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.

3-й старик. А я помню и как сейчас, и как раньше.

Распорядитель. Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!

Дети (маршируют колонной с песней)

Мы здóрово
учимся
на бывшее «ять»!
Зато мы
и лучше всех
умеем
гулять.
Иксы
и игреки
давно
сданы.
Идем
туда,

где тигрики
и где
слоны!
Сюда,
где звери многие,
и мы
с людьём
в сад
зоологии
идем!
идем!!
идем!!!
Распорядитель. Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах – смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.

По саду и театру идут служители зоосада.

1-й служитель

В кулак
бактерии
рассматривать глупо!
Товарищи,
берите
микроскопы и лупы!
2-й служитель

Иметь
советует
доктор Тоболкин
на случай оплевания
раствор карболки.
3-й служитель

Кормление экспонатов –
незабываемая картина!
Берите
дозы
алкоголя и никотина!
4-й служитель

Пóйте алкоголем,
и животные обеспечены
подагрой,
идиотизмом
и расширением печени.
5-й служитель

Гвоздика огня
и дымная роза
гарантируют
100
процентов
склероза.
6-й служитель

Держите
уши
в полном вооружении.
Наушники
задерживают
грубые выражения.
Распорядитель (расчищает проход к трибуне горсовета). Товарищ председатель и его

ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!

Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.

Все

Службы
бремя
не сморщило нас.
Делу —
время, потехе —
час!
Привет вам
от города,
храбрые ловцы!
Мы вами
гóрды,
мы —
города отцы!!!
Председатель (входит на трибуну, взмахивает флагом, всё затихает). Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительному покою. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества.

Да закалятся души и сердца нашей молодежи на этих зловещих примерах!

Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени. Ура!!!

Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологическо госада.

Директор. Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу всё же не принести благодарности преданным труженикам союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам – мозолям, одежде и прочему – уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду – к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал:

«Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».

Голос из толпы. Ах, кой южас!

Директор. Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг… существо является! Его внешность почти человеческая… Ну, вот как мы с вами…

Председатель совета (звонит в звонок). Товарищ директор, я призываю вас к порядку!

Директор. Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более

что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке.

Их двое – разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и… «обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах времени.

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает пóд кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает нá кровать. Вся разница!

Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обывателиус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком-стихоплетом, то романсоголосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующая – птичье обличье – крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под Интернационал в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и… простите за выражение, но мы на научном докладе… гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми как мелкая птичья неприятность.

Товарищи! Впрочем… убеждайтесь сами!

Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, ним возвышение с двуспальной кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик – веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки – надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи: 1. «Осторожно – плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши – оно выражается!» Музыка сыграла туш; освещение бенгальское; отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.

Присыпкин

На Луначарской улице
я помню старый дом –
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..
Директор. Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».

Голосизтолпы. Ах, какой ужас!

Директор. Не бойтесь – сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин, – опрокиньте!

Скрипкин тянется к бутылке с водкой.

Голос из толпы. Ах, не надо, не надо, не мучайте бедное животное!

Директор. Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. (Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.) А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.

Скрипкин (покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал).

Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех

разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю? Граждане!..

Голоса гостей

– Детей, уведите детей…

– Намордник… намордник ему…

– Ах, какой ужас!

– Профессор, прекратите!

– Ах, только не стреляйте!

Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задергивают клетку.

Директор. Простите, товарищи… Простите… Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится… Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.

Музыка, марш!
Конец
[1928–1929]

Сноски
1 Это предисловие было помещенововтором издании поэмы «Облако в штанах», вышедшем в феврале 1918 года в Москве.

2 «Ничто» (лат.).

3 Такси (фр.).

4 Имеется в виду поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду».

5 Красные и белые звезды (англ.).

6 Между нами (фр.).

7 «Платья и моды» (фр.).

8 Прелестно (фр. – charmant).

9 Маленькая история (фр. – petite histoire).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!